К.Д. Бальмонт

Рассказы

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82-3
ББК 84
Б21

Бальмонт К.Д.
Б21 Рассказы / К.Д. Бальмонт – М.: Книга по Требованию, 2021. – 74 с.

ISBN 978-5-4241-2677-2

Имя Константина Бальмонта было заслуженно популярным в начале XX века. Безграничная широта тематики, многообразие освоенных поэтом субъектов лирики, обнаженность всех противоречий внутреннего мира, лирическое преломление мифов русского и мирового фольклора, подчеркнутая музыкальность - вот черты, которые громко заявлены были Бальмонтом и с его легкой руки стали достоянием общим для всей литературы Серебряного века.

ISBN 978-5-4241-2677-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© К.Д. Бальмонт, 2021

Константин Бальмонт
Воздушный путь

ТРИНАДЦАТОЕ МАРТА

Что, Ваня, не бел, не румян,
Где, Ваня, румянец потерял?
Али на дорожке обронил?
Али красной девке подарил?
Народная песня

Так больше продолжаться не могло. Лучше что бы то ни было, лишь бы не это. Последняя степень падения и немощи. Лучше смерть. И смерть желанна. Я ждал избавления от каждого дня и каждого часа, но оно не приходило. Я ждал какой-то вести, какого-то прихода. Думал, что вот дверь откроется, и мои терзания окончатся. Ничего, никого. Ничего.

И откуда ждать избавления, когда боль и ужас внутри?

Мелитта подошла ко мне.

— У тебя опять болит голова?

— Да, опять.

— Что же нам делать? Это никогда не кончится.

Она говорила с болью, и эта боль была обо мне. А я тайком переводил: если это не кончится, нужно это кончить.

Конечно, нужно. Жизнь меня толкала к решению. Каждый человек, который проходил по коридору этой гостиницы, каждый человек, который шел по улице, знал, куда он идет и зачем. Он делал свое дело, а я ничего не мог делать. Уж много месяцев, как я утратил способность работать. Да и что работать? Разве чтение книг работа? И если б я мог читать. Но от прочтения двух страниц, иногда от прочтения нескольких строк у меня начиналась головная боль, паутина облекала мозг, я бессильно начинал в пятый раз длинную фразу, приходил в испуг на середине ее, начинал думать об одном каком-то ее слове, снова возвращался к началу фразы и никак не мог дочитать ее до конца. Постепенно в левом виске боль становилась сильнее, и все предметы, находившиеся на столе, затеивали со мной тайную войну. Я не мог не смотреть на чернильницу и не думать, что чернил там мало и что они покрылись пылью. Но ни за что бы я не мог подойти к окну, на котором стоял пузырек с чернилами, и налить в чернильницу свежих чернил. У карандаша один конец был тупой, а другой обгрызанный. Почему обгрызанный? И кто опять положил все эти книги вверх ногами? Я не могу ни читать, ни писать, если книги лежат на столе в беспорядке. И потом мы встали поздно. Через полтора часа нужно идти обедать. Что же можно сделать в полтора часа, когда мучительно прочесть одну страницу? А за стенами опять гаммы, и скрипач никогда не перестанет играть. «Неврастения, голубчик, неврастения», — говорил мне врач и велел ежедневно приходить в свое водолечебное заведение. Но я напрасно ходил два месяца. Мне это не помогло, напротив, сделалось хуже. И я бросил лечение. Да и денег на это не было. Я уже чувствовал, кроме того, что мне помочь нельзя ничем. Глухо, но убедительно я ощущал то же самое, что чувствует зверь в лесу, которого облава окружила кольцом. Облава еще далеко, но зверь знает, что кольцо неизбежно суживается. Я перестал даже для себя определять те или иные ощущения точными словами. Каждая вещь говорила со мной безгласно, и я бессловесно говорил со всем, что было кругом.

Душа обменивалась со всеми вещами — тайными знаками, но ото всего исходили одни лишь уничтожающие указания.

— Что ж, пойдем обедать, — сказала Мелитта.

Мы вышли на улицу.

В тот год была ранняя весна. Зимние метели выплакались до конца еще в феврале, а теперь уж было начало марта. Снег стаял. Было солнечно.

Мы шли, и каждая металлическая тумба неудержимо привлекала мое внимание. Мне казалось, что, если с разбега удариться об нее грудью, грудь проломишь и смерть будет мгновенной. Рассудок сейчас же начинал противоречить, и говорил, что это невозможно. Но уже следующая тумба притягивала взгляд, и казалось, что это чрезвычайно желанно — разбежаться и изо всей силы удариться грудью о металлический выступ.

Мы зашли в какой-то пассаж. Мелитта вошла в магазин что-то купить. Я остался снаружи. И пока она там была, я понял с неотступностью, что, если она не вернется, тогда я могу еще жить и ждать, что, быть может, время вернет мне прежнюю ясность мысли и я буду снова читать любимые книги, готовиться к будущему, ибо я чувствовал, что во мне целый мир образов. Я чувствовал, что или я, или она. Почему? Я не мог бы объяснить себе. Она меня любила, и я ее любил. Но с тех пор как мы поженились, что-то налегло на меня проклятием, все ясное стало запутанным, все ранее возможное стало невозможным. И эта неспособность работать, которую один я мог бы кое-как переносить, теперь оттого, что я был с ней, была совершенно нестерпима.

Прошли какие-то минуты. Немногие — и бесконечные. Напряженные, длительные. Я смотрел с суеверным чувством на дверь магазина и ждал. Моя судьба решалась. Я что-то должен сделать. Или она, или я. Дверь магазина открылась, и Мелитта вышла оттуда. Она молчала, глаза ее были опущены, красивое лицо ее было бледно. Что-то печальное и упрямое делало выражение ее лица застывшим.

Как я любил это лицо. Оно было боттичеллиевское, и одевалась она, словно одна из женщин Боттичелли. А это было давно, когда в России еще не знали Боттичелли и не говорили о нем. Не знал его и я, несведущий провинциал и не кончивший студент. Большие серые глаза, с продольным разрезом, белый выпуклый лоб, светлые вьющиеся волосы, узорные красные губы. Как целовали и как любили они целоваться, эти узорные губы. И после поцелуя оставляли в сердце грусть. Мы женились против воли моих родителей, и теперь я был с ними в ссоре. Я был в размолвке и с большею частью своих товарищей после женитьбы на ней. Она смеялась метко и уничтожающе над нашими революционными замыслами, и я постепенно отдалился от кружка, к которому раньше принадлежал. Сверстники мои, хранители народовольческих реликвий, как она их называла, считали меня чуть ли не изменником или вовсе изменником. Ведь я как раз тогда еще начал писать стихи и напечатал целую книгу их, и в них совсем-совсем не было никаких общественных тенденций. Мои товарищи радовались, что книга не имела ни малейшего успеха, и видели в этом достойную кару моего отступничества.

Мне остались верны только двое: Петька, сын кузнеца, студент-медик, мой земляк, и мефистофелевская натура, студент-юрист Фомушка, сибиряк, видавший на своем недолгом веку много людей прижимистых и потому вдвойне всегда

растроганный на мою наивность и нерасчетливость. А я был, правда, робкий и мечтательный, и многое для меня было невозможным, что возможно теперь. В эти два дня, 12 и 13 марта, я видел их обоих, и они странно вплелись в повесть моей жизни.

Когда после обеда я вернулся с Мелиттой домой, мы бродили по коридору, и она как ребенок обрадовалась на только что выставленное там окно. Большое окно, которым кончался длинный коридор наш, в третьем этаже, выходило на гостиничный мощеный двор, а напротив был другой корпус гостиницы. Мы подошли, обнявшись, к окну и долго смотрели вниз. В мой мозг туманными наслоениями вошла какая-то бесформенная мысль, и все — я у окна, противоположное здание, и этот двор там, внизу, — все слилось в одну неопределимую цельность. Я не говорил ни слова и не сделал никакого движения, пока мы так стояли у окна. Но души ведь слышат друг друга — или это была простая случайность? Мелитта сказала: «Вот высоко, а если броситься, все равно не убьешь себя, только изуродуешься». Я ничего не ответил. Я даже удивился, и во мне бессильно шевельнулось: «Какое это отношение имеет ко мне?»

Мы вернулись в нашу комнату. На минутку забегал Фомушка и занес только что появившуюся «Крейцерову сонату». Она ходила тогда по рукам гектографированной. «До завтра, — сказал он. — Утром зайду. Прочтите. Да только не поссорьтесь». Он усмехнулся своей обычной насмешливой улыбкой, высокая его фигура качнулась, и он ушел.

Мы поссорились. Не в первый раз. Потому что Мелитта была ревнива, и, хотя я не давал поводов к ревности, она ревновала меня к прошлому и между нами возникали мучительные сцены. Я был наивен, и год тому назад, когда мы только что повенчались, в первую же ночь я ей рассказал, что я любил когда-то одну польскую девушку, служанку, и она меня любила, и это была моя первая любовь. Она молчала, пока я рассказывал, и, увлеченный воспоминанием, я говорил и говорил, думая, что она слушает меня так же вольно и радостно, как я говорил, думал, что она участвует мыслью в моем далеком юношеском сновидении. Она же, выслушав, сказала мне такие слова, такие слова, такие оскорбительные слова, каких я тогда еще не знал. Это была первая наша ссора, и я понял еще тогда, что случилось что-то непоправимое, что я связал свою жизнь с той, кого я не знал, что я не должен был этого делать, что я вступил в запутанность, на дорогу рабства, которая приведет неизбежно к чему-то темному. Одна фраза в «Крейцеровой сонате», грубая фраза, как груба и цинична вся эта вещь, взбудоражила в Мелитте все темное, что в ней иногда вставало помимо ее воли. И она, такая нежная, такая женственная, опять и опять осквернила мою и свою душу бесцельным и грязным ужасом, который называется ревность.

Последние недели веяние смерти было со мною неотступно, и ночью, когда мы были так близко друг от друга, в ней часто должны были возникать злые мысли, потому что она не видела того, что во мне трепетало безысходно, и видела лишь, что вот я холоден как труп и безответен к ее ласкам. И она, не понимая, разражалась слезами, и порою она, искажаясь, говорила мне страшные, незабываемые, несправедливые слова. И потом, разметав свою взволнованность в подобной сцене, она по-детски ласково просила меня простить ее. Я целовал ее и говорил ей ласковые слова. Она засыпала. Но я не спал. И чувствуя в ночной тиши, что завтра в этот час я буду еще холодней и печальнее, я проникался

темным ужасом, и наша маленькая комнатка, в которой только что звучали безумные упреки и ласковые слова, казалась мне душным склепом, хранящим в тесноте своей всю безбрежность адских мук.

Когда, прочтя эту жестокую повесть и пережив унизительную ссору, оба подавленные и приниженные, мы сидели за вечерним самоваром, пришел жизнерадостный Петька, и его появление на два, на три часа целебно разлучило нас, острия как будто спрятались, но все же я был так подавлен, что веселый наш гость, товарищески меня браня, сказал мне: «Послушай, ты невозможен. Тебе ничего не остается, как прямо лечь на операционный стол: или тебя там зарежут, или встанешь как встрепанный и будешь живым».

Это было сказано на исходе одиннадцатого часа, ночью, а ровно через двенадцать часов, в приближенье к полудню, я видел близко-близко бледное лицо Петьки, и кругом были бледные лица других людей, а кто-то лежал окровавленный, и смерть спорила о нем с жизнью.

Как утром Фомушка, так сейчас Петька ушел из комнаты, и у меня сердце сжалось, когда он выходил, как будто я слышал слова приговора, и меня поразило, что и он, выходя, как-то странно качнулся.

В эту ночь мы молча легли спать. О чем могли бы мы говорить? Мы оба были слишком надорваны. И оба, притаившись, как от врага, мы молча лежали, и каждый притворялся, что спит. Но мы долго не спали, и Мелитта наконец не выдержала. «Ты спишь?» — сказала она. Но я ничего не ответил, боясь, что мы будем ссориться. И в темноте я слышал, как она горько усмехнулась, но не сказала больше ничего. И через несколько минут я услышал ее ровное дыхание. Она спала.

Я сел тогда на своей постели и долго смотрел в темноту. Мне казалось, что черный мрак безграничен, что он все растет и растет, как Море во время прилива, и черные тени — не тени, а слои и наслоения — качались в темноте, подступали ко мне, окружали меня, обнимали мою голову, проходили через мою голову, как будто она была невещественна, возвращались снова и беззвучно карабкались все выше и выше. Спасенья уже не было. Я утонул.

Мне не было жаль никого и ничего. Я был бесконечно далек от жалости. В этом холодном отчаянии была какая-то сила, всеобнимающая. Она овладевала мною все полнее и уносила меня в безвестность, как течение уносит ладью, на которой никого нет. Жук-точильщик в стене отбивал незримым молоточком свой похоронный марш. Темнота без берегов и без какой-либо надежды обступила меня отовсюду. Просвета не было. Я утонул.

Мы проснулись на другой день раньше обыкновенного. Но около одиннадцати Мелитта еще сидела за самоваром, а я у другого стола безуспешно пытался читать книгу Иоганна Шерра о юности Гёте. Я хорошо помню этот день 13 марта, и ничто в мире не смогло бы заставить меня забыть его. Я был в решении, которого я еще сам не знал. В торжественной и великой простоте, из которой не было узорных выходов.

Когда я проснулся, я долго смотрел тупо-внимательно и с чувством, которое было похоже на нежность к живому и желанному существу, смотрел все в одну и ту же точку — и вот так уже тринадцатое утро, должно быть. К отдушнику был привязан толстый крепкий шнурок, и он привлекал меня к себе с неудержимой силой. Мне казалось, что это так просто — попросить Мелитту сходить что-

нибудь купить к чаю, а в это время сделать петлю и так стянуть ее вокруг горла. Теплая горячая радость на несколько мгновений вливалась в сердце, потом от того или иного звука, раздававшегося в коридоре, сердце сжималось, в нем снова было свинцово и холодно, и я знал, что из этого ничего не выйдет.

Но теперь, когда истекал одиннадцатый час, я сидел, спокойный, перед книгой, которой не читал, спиною к двери, кончавшейся сверху стеклянным четвероугольником; на нем был написан номер комнаты, и спиною своей я как будто слушал, как будто глядел, чего-то ждал, что должно прийти оттуда. Мне сделалось жутко и в то же время успокоительно, когда раздался знакомый стук, и, обернувшись, я увидел на стеклянном квадрате тень от высокой фигуры. «Вот это», — сказал я про себя и, встав, отворил дверь Фомушке. Решение мое созрело внезапно, мгновенно.

— Хотите чаю? — спросила Мелитта.

— Нет, благодарю, — ответил Фомушка. — Но пока я к вам шел, разорвал перчатку. Не почините ли?

И он наклонился с ужимкой.

Мелитта стала чинить его перчатку, он сел около нее и ласково-насмешливо начал расспрашивать ее о вчерашнем дне, а я, выйдя из комнаты, прошел коридор до окна, раскрыл его, посмотрел вниз на каменный двор, как будто считая, сколько тут саженей, посмотрел на небо над крышами, и оно показалось мне странно тусклым и бледным для этого солнечного дня и живым, словно оттуда что-то спускалось на меня, безличное, большое и враждебное. Вернулся в комнату, сел на прежнее место и, разрезав не торопясь листок бумаги на три равные части, стал писать. На одной написал: «В полицию. В смерти моей прошу никого не винить. Прошу похоронить меня здесь, в Москве». На другой: «Фомушка, прошу тебя, отвези Мелитту в N-скую губернию, к ее родственникам». На третьей: «Мелитта, прости меня за ту боль, что причиняю тебе. Иначе не могу. Прощай».

Так просто. Так обыкновенно. Но теперь уже нет возврата.

— Что это вы, миленький, — промолвил, усмехаясь, Фомушка, — так торжественны? Уж не предсмертные ли записочки пишете?

— Вот именно, Фомушка, вот именно, — ответил я, передразнивая его интонацию.

Но когда я встал от стола своего, мной овладел страх, что кто-нибудь из них подойдет и прочтет эти записки. Я положил на них книгу и подошел к чайному столу. Вид у меня, должно быть, был странный. И Мелитта и Фомушка смотрели на меня вопросительно и, видимо, ждали, что я что-то скажу. Но у меня не было слов. Мне хотелось поскорее уйти из комнаты, и сделалось необъяснимо трудно выйти. Я сделал несколько бессвязных движений. На чайном столе стояла коробка с конфетами. Я взял одну и положил ее в рот. В ту же секунду мной овладел страх, что у меня заболят зубы. Я налил полстакана чаю и быстро выпил его. В правом кармане у меня было серебряное портмоне, которое когда-то подарила мне мать. Я подумал: «Если, падая, я упаду на эту ногу, оно раздробит ногу, и это будет больно». Я вынул портмоне и положил его на письменный стол. «Часы разобьются, — подумал я тотчас, — нужно их вынуть». И усмехнулся про себя: «Уж теперь не нужно». Потом, подойдя к Мелитте, я молча поцеловал ее в лоб. Я никогда до этой минуты не целовал ее в лоб.

— Что с тобой? — спросила она.

Я ничего не ответил и молча пошел из комнаты, но мне казалось, что ноги подо мной подгибаются.

— Куда ты? — спросила Мелитта с тревогой в голосе.

— Я сейчас, — ответил я с расстановкой, и мой голос прозвучал для меня самого, как чужой голос пьяного.

Закрыв за собой дверь, я сделал два шага и побежал по коридору. Когда я добежал до окна, была одна краткая секунда, одна малая часть секунды, которая была самым трудным из всего, что я знал в жизни. Пока я бежал по коридору к окну, меня нес ветер, чужая сила несла, не я бежал. Но в одну краткую секунду, когда нужно было сделать последний упор ногами, чтобы броситься в окно, я испытал, без замедления, всю бесконечную пытку, всю тяжесть величайшего решения, какое может быть в жизни человека. Но все было в вихре, и эта секунда, промелькнув, исчезла. Я уже был в воздухе. И последняя моя мысль была мучительная: я подумал, что, быть может, падая, тяжестью своего тела я убью кого-нибудь, ибо я не видал, что подо мною. А последнее мое ощущение было — красная-красная рубаха служителя, который мыл окно в противоположном корпусе гостиницы. Тут я начал перевертываться и лишился сознания. Я не почувствовал страшного падения своего на камни. Я не испытал никакой телесной боли, ибо несколько секунд я был в глубоком обмороке. И тотчас же проснулся — внизу, разбитый, с чувством, что я обманулся, что я в сети чудовищного обмана, и в мозге моем тяжелая пьяность, как будто я выпил целую бутылку водки. Я был удивлен тем, что я как будто прикован к земле. Я не мог повернуться, и левая нога моя была тяжелая и чужая. Как я узнал потом, я весь был разбит и изуродован. Левая нога моя была сломана в бедре, правая рука — в локтевом суставе, кисть левой руки разбита, левый висок рассечен и нижнее веко левого глаза разорвано. Я был покрыт кровью и грязью. Один из моих товарищей сказал мне как-то, что, если крепко нажать пальцами сонные артерии, можно себя задушить. Видя, что я не убил себя, а только изуродовал, я хотел протянуть свою правую руку к горлу, но рука лежала как налитая свинцом и не повиновалась мне. Тогда я приподнял левую руку, которая была окровавлена и болела, и прижал ее к горлу. Но вокруг меня уже стояла кучка людей, они глядели на меня с любопытством и с ужасом.

— Удушить, удушить себя хочет, — сказал один из толпы и, наклонившись, грубо отдернул мою руку, схватив меня со всею силой за эту разбитую кисть. Мизинец и безымянный палец были повреждены от удара.

В это самое время наверху раздался отчаянный, душу раздирающий крик. Это слуга прибежал к Мелитте и сказал ей, что я бросился в окно.

Через минуту задребезжала извозчичья пролетка, въезжавшая во двор. Меня посадили на нее поперек ее, я качал головой как смертельно пьяный. Сзади меня поддерживал дворник. Умостился еще на пролетку и городовой. Меня повезли в приемный покой находившегося неподалеку полицейского участка.

Когда меня снимали с извозчика, мне сделали страшно больно, и я громко застонал. У входа в полицейский участок стоял какой-то человек в штатском, писец или сыщик.

— Ну, ну, — сказал он грубо, — умел бросаться в окно, умей терпеть.

Меня поразила эта фраза своей странной логичностью, и я исступленно за-

кричал:

— Да, я подлец, я подлец, я не должен был этого делать.

Человек в штатском отпрянул от меня в изумлении и в каком-то суеверном страхе. Был ли он поражен звуком моего голоса или отчаянной искренностью моей интонации, тем, что я являл себя во всей своей мгновенной беззащитности, но он отшатнулся от меня так, как будто я ударил его по лицу.

Меня внесли в какую-то полутемную комнату и положили на пол. Вбежавший фельдшер быстро осмотрел меня и тотчас вышел за перевязочным материалом. В соседней комнате раздавался голос полицейского пристава, который допрашивал о подробностях происшествия.

Ему отвечал тихий, надорванный, милый и родной, и вот уже как бы далекий и чужой, голос Мелитты, успевшей прибежать из гостиницы. Лежа на полу, как брошенный комок, я впервые понял со всей ужасающей отчетливостью, что я не убил себя, а только исказил свой внешний лик, что я должен жить и еще изуродованный. Мне показалось, что потолок налег на меня, что безмерная тяжесть меня сдавила, и я закричал. Если крик Мелитты, донесшийся до меня, когда я лежал разбитый на земле под недоступно-отодвинувшимся высоким небом, был потрясающе пронзителен и полон отчаяния, — мой крик, вырвавшийся из горла моего теперь, показался мне таким чудовищным и страшным, что я мгновенно смолк. И снова за стеной говорили два голоса, один чужой, спрашивающий, другой родной, тихий, отвечающий.

Через несколько минут к зданию, где я был, подъехала карета. Меня вынесли и кое-как посадили в карете.

— Нужно покрыть, нужно его покрыть чем-нибудь, — раздался чей-то голос.

Бывший в толпе бледный Фомушка быстрым движением сорвал с себя свою студенческую шинель и укутал меня. Хотя день был солнечный, было свежо, а доктора говорили, что у Фомушки начинается чахотка, и это быстрое движение, в котором сказалась забота обо мне, а не о себе, возбудило во мне горячую любовь к Фомушке. В карету села со мной смертельно бледная Мелитта, напротив нас сел фельдшер, и мы поехали в Ново-Е-нскую больницу.

Мне пришло в голову, что я во второй раз в жизни еду в карете. Я знал деревенский тарантас, телегу и извозчичью пролетку. Но в первый раз поехал в карете, когда ехал венчаться с Мелиттой, и второй раз ехал теперь.

Я был в безумном возбуждении и без умолку говорил. Будучи совершенно несведущ в хирургии, я спрашивал фельдшера, отнимут ли мне сломанную ногу, и говорил, что я не хочу жить без ноги.

— Зачем отнимать ногу, срастим, — говорил фельдшер, — вот пальчик на левой руке отнимем.

— Мелитта, Мелитта, ведь ты будешь любить меня и без этого пальчика, который отнимут? — спрашивал я в страшном возбуждении.

И когда она отвечала утвердительно, я начал снова просить у нее прощения и говорить о том, как светит Солнце, и вспоминать, что было год тому назад.

Пальчика, однако, мне не отняли. Его срастили, но только он не сгибается.

Приехали в больницу, забегали разные люди вверх и вниз по лестнице. Мелитта сидела около меня, и, думая, что я не вижу ее, ибо на минуту я закрыл глаза, она откинулась всем телом к стене и беззвучно и жалко рыдала. На лице ее был ужас и безысходность.

Да, еще не было полдня. Двенадцать часов со вчерашнего вечера замкнулись, и я лежал на операционном столе. Петька был как раз в Ново-Е-нской больнице, на лекции, и прибежал в хирургическую. Яркий солнечный свет вливался в окно. Неведомые мне люди в белых халатах, белых как саваны, осматривали меня и ощупывали, говорили между собою, говорили обо мне с той медицинской ухваткой, которая заставляет больного чувствовать себя уже умершим. Не с ним говорят, а о нем говорят. Слышит ли он или нет, все равно.

Что-то горячее полилось вокруг моей сломанной ноги, завладели одной моей рукой и другою, что-то делали с моим глазом и лбом. Сперва я бился, мне казалось, что мне хотят отрезать ногу. Петька меня уговаривал. Я успокоился, забылся. Смутно помню, как меня понесли через какие-то переходы, казалось мне — бесчисленные. Поднимались и опускались. Я был как в волне. Положили в полутемной комнате на кровать. На несколько минут ко мне впускали Мелитту. Она молила позволить ей остаться со мной. Она говорила, что она готова мыть пол в этой комнате, лишь бы ей позволили остаться со мной. Ее увели. Меня усыпили. Я был и не был.

Зачем даны человеку глаза, если он не может ими видеть свою судьбу? Зачем даны ему ноги его, если они идут не туда, где его счастье? Зачем его мысль ему, если она измышляет ему страдание, безысходность мучения, терзания и пытки, для которых нет слов?

Моя мысль плясала безумную пляску, кружилась, на вихрях качалась, столько стран обежала, что на жизнь бы хватило долгую. Видела лица, умершие лица, и живые лица, и не бывшие лица, те, которые, быть может, еще будут здесь или где-нибудь в ином месте, в пространстве. Потолок поднимался и опускался, прижимал мою грудь вплоть и уходил в бесконечное небо. Справа и слева вставали фигуры и долго стояли. Стояли молча, и, хотя лица их были устремлены прямо в пространство, я чувствовал, что они смотрят на меня. Пробыв возле меня известное время, они исчезали внезапно. Не вверх или вниз и не в сторону. Исчезали вдруг без направления.

Ко мне подходили врачи. Осматривали меня и выслушивали меня тут и там.

— Но мне совсем-совсем ничего не больно, — восклицал я. — Отчего мне совсем ничего не больно?

— Подождите, придет, — сказал, усмехаясь, один.

Боль в теле началась лишь через неделю. Лихорадка качала мою мысль, и я не ощущал тогда боли.

Я закрыл глаза и перестал отвечать на вопросы. Зачем они спрашивают так много и каждый повторяет предыдущего?

Врачи думали, что я забылся. Они продолжали говорить между собою. Голоса их были озабочены. Ничего из внутренних органов не было повреждено. Травматические повреждения тяжкие, но для жизни в этом нет опасности. Выдержит ли сердце? В этом вопрос. Я понял их разговор. Мое сердце плясало бешеный танец, и было неизвестно, не поскользнется ли оно на одном из своих прыжков, не сорвется ли. Один за другим все ушли. Сердце мое плясало. Стены сходились и расходились. Не открывая глаз, я почувствовал, что я один. Не открывая глаз, я почувствовал через некоторое время, что надо мною кто-то наклонился. Я приоткрыл правый глаз — левый был забинтован. Во рту у меня пересохло.